

August 1991: the Festival Which Failed to Reach Climax

The events of the three August days of the opposition to the putsch are viewed as a short-lived state of society in a traditional archaic popular festival in its structure and a number of characteristic features. During such festival the distinctive oppositions determining the social structure are removed, weakened or reversed. The authors made an attempt to observe similar changes in the social structure of Moscow during the days of confrontation with the junta. The peculiarities of the «Russian festival» common with the similar political «festivals», which had taken place earlier in the different regions of the country are described in the article as well as its distinctive features. Particular emphasis is put upon the problem of impostor vs. the true tsar. The folklore born in those days (slogans, stories, jokes, etc.) is also analysed.

A. A. Borodatova, L. A. Abrahamian

© 1992 г. ЭО, № 3

А. А. Исто мин

РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРАЯ БЫЛА ПРАЗДНИКОМ

За прошедшее время успели сформироваться достаточно одномерные представления о событиях августа 1991 г., основанные преимущественно на политической или житейской оценке этих событий и их последствий. Между тем для августовской «преображенной» революции — как, вероятно, для всякого исторического события подобного масштаба — характерны смысловая многослойность и многоаспектность. В силу этого чисто политологический анализ не исчерпывает содержания происшедшего и должен быть дополнен антропологическим исследованием.

Статья А. А. Бородатовой и Л. А. Абрамяна «Август 1991: Праздник, не успевший развернуться» представляет именно такое исследование, открывающее еще один семантический пласт событий 19—24 августа прошлого года. Ознакомившись со статьей в рукописи, автор этих заметок обнаружил, что многие ее выводы перекликаются с его собственными наблюдениями, и не мог удержаться от соблазна прокомментировать или, скорее, дополнить их работу своими личными впечатлениями, несмотря на их определенную субъективность и неполноту.

В своей значительной части выводы и наблюдения А. А. Бородатовой и Л. А. Абрамяна представляются верными; прежде всего это относится к самой идее выявления архетипа праздника. Вместе с тем некоторые положения статьи достаточно спорны, другие же нуждаются в пояснениях и дополнениях.

Историческая природа явления. При анализе августовских событий авторы ограничиваются сугубо антропологическим подходом. Однако без политологической и социально-исторической оценок понимание происшедшего значительно обедняется, выпадает из общесторического контекста. Между тем отмеченные в статье явления в значительной мере отражают как некоторые общие социально-политические закономерности, так и политическую специфику августовского путча.

В начале статьи Бородатова и Абрамян фактически ставят в один ряд такие определения событий, как «революция», «военно-патриотическая акция» и «растянувшаяся на несколько дней политическая демонстрация». Однако два последних понятия отнюдь не тождественны революции, а в данном случае необходима четкость определения, ибо революция действительно есть нечто качественно большее, выходящее «за рамки обычных политических выступлений». И в этом

случае принадлежность случившегося к «сфере праздника», быть может, является выражением определенной закономерности.

Известная ленинская фраза «Революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых»¹ нашла в событиях августа 1991 г. свое буквальное воплощение. Черты праздника, замеченные в атмосфере тех дней, ставят август 1991 г. в Москве в один ряд с июлем 1789 г. во Франции, февралем 1917 г. в Петрограде и многих городах России, апрелем 1974 г. в Лиссабоне и другими аналогичными событиями, где праздничная эйфория являлась одним из неизменных спутников демократической революции.

Связь революции и праздника основана, как можно предположить, на некоторых изначальных характеристиках празднества как культурного явления, о которых писал М. М. Бахтин: «Празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении»². Между тем революции и являются таким переломным, кризисным моментом в процессе общественного развития, распада одних структур и становления новых. В момент революционного восстания происходит временное снятие социального отчуждения, выход за привычные рамки общественно-политической жизни и повседневного быта. В этом, по-видимому, основа праздничности народных революций, по крайней мере, части из них.

Августовские события, безусловно, являются революцией — опирающимся на массовое народное движение политическим переворотом, ставшим кульминацией борьбы за власть в ходе развившегося в последние годы кризиса и распада советской социальной и политической системы. В результате возникла принципиально новая расстановка сил, а сентябрьские и декабрьские решения лишь оформили эту новую ситуацию, доведя процесс до логического конца.

В политическом плане это было восстание, т. е. открытое неповиновение наиболее активной части населения существующей реальной власти (несмотря на всю легитимистскую оболочку этого бунта) — власти, которая посредством путча, расколовшего правящий блок, резко ослабила и частично утратила свою легитимность. Характерной чертой данного восстания-революции было преодоление страха перед системой государственного террора, что, вероятно, является одной из ведущих психологических характеристик народной революции.

Впервые с начала перестройки произошла открытая вооруженная конфронтация полярных политических сил. Переворот 18—19 августа стал в сущности концом перестройки, если под последней понимать попытку глубоких реформ в условиях ненасильственного развития процесса. Баланс сил, обеспечивавших эти условия, был нарушен путчем — в результате за образованием ГКЧП последовали три дня своеобразной «неразвернутой» гражданской войны — фактически объявленной, но к счастью — за одним трагическим исключением — ограничившейся демонстрацией силы.

В социальном плане август был выступлением против номенклатурно-бюрократической системы классового господства, которая в лице ГКЧП претендовала на воссоздание благоприятного для этой системы политического режима. Но за годы перестройки система была дискредитирована, что предопределило политическую изоляцию ГКЧП и массовый отпор путчу в Москве и Ленинграде.

Вместе с тем необходимо учитывать, что линия политической конфронтации, вопреки марксистским канонам, проходила не по социальной горизонтали («класс против класса»), а по вертикали — с образованием противостоящих поликлассовых блоков. Господствующий класс (номенклатура) к этому времени был расколот: собственно говоря, именно политический раскол номенклатуры был условием развития перестроечного процесса. Речь идет даже не об «инициаторе перестройки» и его либеральных единомышленниках, в августовские дни оказавшихся (или по крайней мере показавшихся) по демократическую сторону баррикады, но прежде всего о многих лидерах демократической оппозиции, чье номенклатурное

прошлое и настоящее были беспорядочными. Кроме того, наряду с политическим расколом началось территориальное обособление республиканских и местных групп номенклатуры; изредка эти два явления накладывались друг на друга. Масштабы этого раскола стали быстро возрастать по мере формирования новых российских органов власти. Начавшись с «номенклатурного диссидентства» 1988—90 гг. (отдельные ректоры, директора, главные редакторы, генерал разведки и, наконец, бывший член Политбюро), раскол в августе 1991 г. охватил уже все действующие властные структуры — КГБ, армию, административный аппарат. Именно этот раскол стал одной из причин провала путча. С этим же обстоятельством связано и упомянутое в комментируемой статье раздвоение оппозиции «народ — власть» со снятием одной из двух возникших новых оппозиций.

В результате к власти пришли новые группы политической и экономической элиты, сложились новые структуры власти и формируются новые системы социального отчуждения. И это естественно: праздник не может длиться постоянно...

Важно понять соотношение августовского противостояния с предшествовавшими ему массовыми митингами демократических сил в Москве, начиная с 4 февраля 1990 г. И здесь нельзя полностью согласиться с авторами статьи, которые подчеркивают лишь качественное различие этих митингов и того, что произошло в августе 1991 г.

Несомненно, качественное различие существует. Оно — в реальности той опасности, с которой мы имели дело в августе, в степени реального риска, в открытости и недвусмысленности борьбы (думаю, что именно последним обстоятельством в значительной мере оборона парламента смогла привлечь столько молодежи, прежде достаточно аполитичной). Отсюда отмеченное многими страшное нервное напряжение, усиленное обостренным ощущением невероятной подлинности происходящего. Состояние вневременности, описываемое авторами статьи, очень характерно для трех дней путча, когда, казалось, время приобрело особые свойства и текло по каким-то особым законам — совершенно иначе, чем до этого или после.

Естественно, иными, нежели на митингах, были степень, продолжительность и формы активности противников системы.

Однако важно отметить другое. «Большие» митинги 1990—1991 гг., собиравшие сотни тысяч людей, были прообразом и своего рода репетицией августовской революции. Их важнейшая функция состояла в том, что они отработывали тот комплекс поведенческих реакций и навыков мобилизации, которые сработали в августе. В сущности митинги «в малых дозах» готовили своих участников к возможному негативному повороту событий и активному отпору реакции. На январском митинге 1991 г., после событий в Вильнюсе, это прозвучало как открытый призыв: в случае опасности идти спасать парламент. Митинги прививали «иммунитет» против страха и беспомощности в случае открытого противостояния системе. Эта «прививка», так же как прибалтийский опыт в качестве наглядного примера, была важной предпосылкой массового сопротивления, с которым столкнулись путчисты.

Если сравнить атмосферу митингов и трех августовских дней, то мы заметим следующие общие черты:

1. Чувство единения, вызванное во время самых массовых из митингов именно тем «ощущением общей опасности» и возмущением, о которых пишут авторы статьи применительно к августу. Так было 4 февраля 1990 г. — активизация крайне правых, погром в ЦДЛ, адресованный демократической интеллигенции, слухи о готовящихся провокациях. Так было 25 февраля того же года — оцепленный центр города, запугивания и угрозы через средства массовой информации, 20 января 1991 г. — ответ на события в Прибалтике и, наконец, 28 марта 1991 г. — здесь параллели более чем очевидны — это уже почти «генеральная репетиция»: войска на улицах города, открытое неповиновение народа верховной власти, а российского парламента — союзному центру, первый опыт мирных контактов армии и народа в условиях чрезвычайного положения.

2. Праздничная атмосфера временного и условного выхода в иное качество бытия: здесь это качество определяется открытостью конфликта, свободой, снятием запретов — от свободы слова до свободы ходить пешком по проезжей части улицы.

В частности на митинге снимается (условно) политическое отчуждение, происходит «приращение» народа к борьбе за власть, появляется возможность открытого и наступательного проявления политических симпатий и антипатий, которое призвано снимать стресс, вызванный воздействием негативной политической информации. Причем данное качество одинаково свойственно и «демократическим» и «патриотическим» митингам; это относится также и к атмосфере праздничности. Показательно, что митинг державно-фундаменталистских («национал-патриотических») сил 9 февраля 1992 г. на Манежной площади начался словами «Сегодня действительно праздник» и характеризовался многими атрибутами праздничной деятельности.

3. Социальная неоднородность контингента участников. Хотя ядро митингов составляла интеллигенция, в них участвовали представители самых разных социальных групп. Как раз на митингах и начинало возникать то широкое сообщество граждан-единомышленников, заинтересованных во взаимной поддержке и вместе образующих нечто единое — народ. Такое единство на митингах было гораздо менее продолжительным и более условным, чем в августе, но его традиция восходит именно к митингам.

4. Наличие театральности и игровых моментов. Митинг — это в сущности театральная импровизация с огромной массовой, со своим сценическим пространством, элементами сценария и режиссуры. Игра же, помимо прочего, порождалась самой идеей митинга — вызовом противнику и его посрамлением. Здесь же необходимо упомянуть и о многочисленной политико-театральной «буффарии» (плакаты, транспаранты, знамена), и о митинговом фольклоре: надписи на самодельных плакатах, уже породивших к моменту путча определенную традицию, расцвет которой пришелся на августовские дни.

5. И митинги, и сопротивление путчу, являясь актами реализации свободы выбора, открывали возможность личного и коллективного свободного творчества в разнообразных формах самодеятельности — от плакатных живописи (или «каллиграфии») и фольклора до организации в августе обороны Белого дома — являя собой противоположность «внешней» заданности повседневной жизни. Это высвобождение личностного потенциала каждого вместе с эффектом добровольного соединения тысяч индивидуальных волей давало ощущение неизвестной прежде силы — возможности народа решать свою судьбу. «Мы все можем» — эта, немного шутивая надпись, появившаяся к концу путча на постаменте памятника у Белого дома, выражала именно подобное ощущение.

6. На митингах уже начинается снятие некоторых из указанных в статье оппозиций, например «народ — милиция». Из силы, разгоняющей манифестантов, милиция превратилась в средство охраны порядка во время митинга — не случайно многие из них кончались словами благодарности в адрес милиции. Это относится также к оппозиции «народ — власть» применительно к московской и республиканской власти после выборов 1990 г. Что касается оппозиции «русские — инородцы», то, как, известно, на демократических митингах она была снята изначально.

Митинги 1990—1991 гг. стали важной инновацией в политической культуре России, предвосхитив некоторые элементы сопротивления путчу. Не забудем, что непрекращающийся митинг — это одна из ипостасей августовского бунта.

И, видимо, не случайно так опасалась этих митингов определенная часть правящих кругов. Власть подозревала в каждом митинге «гидру революции» и в конечном счете не ошиблась. Впрочем, к счастью, в решающий момент, 19 августа, лидеры путча не сумели оценить значение (демонстрационный эффект) выхода людей на площадь, позволив «безнаказанно» зародиться малолюдным вначале митингам, из которых уже к концу дня выросло массовое движение

(На заседании кабинета министров вечером 19-го премьер Павлов, как явствует из одной из существующих записей, успокаивал коллег: ничего страшного, пусть мол демонстранты «погуляют»). Но после августа значение митинга (демонстрации) как средства борьбы за власть уже было понято всеми (в связи с этим показательно противостояние двух митингов — на Манежной и у Белого дома — 9 февраля этого года).

По поводу праздничности митингов необходимо напомнить, что именно ритуально-«политические» манифестации многие десятилетия были единственной и довольно обыденной формой массового участия населения в основных государственных праздниках (1 мая, 7 ноября), порождая традицию взаимосвязи праздника и политики.

В связи с вопросами о *театрализации* и *мифологизации* следует напомнить и о странностях августовского путча, которые наложили отпечаток на психологическую атмосферу. Уже в первый день стало ясно, что переворот какой-то «ненормальный» — по сравнению с типичными военными переворотами, например где-нибудь в странах «третьего мира». ГКЧП, объявив войну демократии, казалось, не спешил разворачивать боевые действия, ограничиваясь демонстрацией силы. Всему этому сейчас можно найти объяснение. Однако, не вдаваясь в обсуждение замыслов путчистов и тех трудностей, с которыми они столкнулись, необходимо отметить, что это несоответствие очевидных политических целей ГКЧП средствам и темпам их реализации породило то «пространство» или «поле», на котором успело возникнуть массовое движение сопротивления и развернулась трехдневная августовская эпопея с ее противостоянием двух сил, двух центров — схватка, исход которой решили не военные действия, а их отсутствие. Это же несоответствие создало и определенное пространство для игровой и праздничной деятельности, которое расширилось по мере того как «скисал» и «выдыхался» путч.³

Временами складывалось впечатление, что начиная с 21-го, а может и ранее, осознанно, полуосознанно или неосознанно, разыгрывалось «героическое рождение» нового общества (государства). «Игра в войну» развернулась уже к вечеру 21-го. Но еще на рассвете этого дня, стоя последние часы на площади перед Белым домом, я не мог не замечать контраста между тревожно-патетическим тоном местного радио и совершенно спокойной обстановкой: напряженность, вызванная трагическими событиями на Садовом кольце, спала где-то после трех часов, а к окружавшим дворец баррикадам, как потом рассказывали, так никто и не приближался. Возможно, это было ложное впечатление, вызванное недостатком информации, но почему-то на исходе той, второй ночи путча меня не покидала мысль о том, что любая государственность нуждается в легенде о своем героическом начале и сотворение этой легенды происходит на наших глазах...

Несколько замечаний по поводу *организации пространства*. Совершенно справедливы слова авторов статьи о том, что «баррикады ознакомили резкое обозначение (уже и в пространственном коде) оппозиции „мы — они“». Можно добавить, что в реальной ситуации фортификационное значение баррикад уступало их символическому значению (в отличие, например, от 1905 г.); их функция, таким образом, была двойственной. Очевидно, что баррикады неспособны были остановить настоящий штурм, осуществляемый с применением обычных современных технических средств, не говоря уже о спецподразделениях типа «Альфы». Самое большее — баррикады могли сдерживать нападавших: главной защитой здания фактически явилось живое кольцо вокруг Белого дома — его защитники и добровольные заложники одновременно. Вместе с тем в условиях, когда намерения хунты оказались неадекватны ее реальным возможностям, а тактика — ситуации, сложилась обстановка, в которой баррикады могли играть важную роль, создавая определенный демонстрационный эффект и становясь одним из важнейших символов сопротивления.

В сущности баррикада сама по себе есть символ протеста — это вызов, готовность к сопротивлению, к «чрезвычайному» поведению в ответ на чрезвычайное положение. Мотив протеста содержится в самом нарушении и «искривлении»

привычного пространства городского пейзажа. Но одновременно баррикады «искривляли» и пространство, так сказать, социальное, создавая в номинально подконтрольном ГКЧП городе зону, недоступную для противника. Создавая преграду, хотя бы минимальную, они символизировали защищенность «очага демократии» — Белого дома, который в те августовские дни для тысяч людей был в полном смысле слова «зоной последней надежды» (эти слова из стихотворения известного поэта, посвященного перевороту в Чили, здесь подходят как нельзя лучше). Указанный мотив усиливало присутствие у Белого дома небольшого числа танков Таманской дивизии, символическое значение которых также перекрывало чисто военное.

К слову сказать, танки во время дневных митингов органично вписывались в митингово-праздничное пространство — украшенные цветами, трехцветными флагами, а в одном случае (танк № 111, 20 августа, около 13 ч.) на стволе пушки было закреплено полотнище агитационного плаката.

В то же время баррикады символизировали границу «нашего» и «враждебного» миров, давая защитникам Белого дома чувство территории, приобщенности к «своему» пространству. Территория, на которой проходили эти напряженные и тревожные часы, воспринималась уже как своя и одновременно как общая — чувство, мало знакомое современному горожанину, в значительной степени отчужденному от пространства за порогом квартиры. Происшедшее у стен Белого дома приобщение к истории приобрело пространственный смысл. Возможно, поэтому у многих возникало желание приходить сюда вновь и вновь или не уходить вовсе, чувство, ослабевшее по мере того, как распалось само это пространство — исчезали приметы «осадного времени», а их место, напротив, занимали такие социально отчуждающие предметы, как, например, черные «Волги» перед зданием. Приобщенность к «своему» пространству — определенному узлу обороны находила отражение в названиях отдельных отрядов (привожу по памяти): «125-й отряд» — по танку № 125, который этот отряд охранял, «отряд Горбатого моста», тот самый, что держался на этом месте до глубокой осени, установив плакат с надписью: «Эта баррикада уйдет последней». Пространство внутри кольца баррикады выступало как локализация иного качества бытия — чистый мир единства, бескорыстия и самопожертвования — противоположность старому, хищному, олицетворяемому ГКЧП.

С неосознанным пространственно-символическим значением укреплений, возможно, связано (по крайней мере частично) и взаимное упорство солдат и защитников баррикады при выходе из тоннеля на Садовом во время стычки в ночь на 21-е. Баррикада, как неоднократно отмечалось, не имела стратегического значения для обороны Белого дома, но её прорыв демонстрировал, кому принадлежит контроль над городским пространством — кто в эту ночь «хозяин» прилегающих к парламенту улиц и площадей.

Баррикады были также одним из символов *исторической переклички*, той самой «революционной традиции», о которой в самом начале своей статьи авторы упоминают с отстраненностью, если не с иронией. Между тем именно восходящий к *той* революции мотив социальной справедливости, вступив в острый конфликт с реальностью постреволюционного общества «победившего социализма», был одним из эмоциональных стимулов для части инакомыслящих, оказал значительное влияние на шестидесятников и определенное время служил пафосом самой перестройки. Не следует отождествлять революционный архетип в советском сознании с большевизмом, его рамки гораздо шире. Вместе с тем обострявшаяся антикоммунистическая направленность демократического движения, отрицание предыдущей формы революционности порождали противоречие между влиянием традиции и формами ее выражения. Во время первой «большой» манифестации в Москве 4 февраля 1990 г. мне довелось наблюдать попытку одного из участников запеть на марше «Интернационал», прерванную шиканьем сопровождающих дам, на что тот недоуменно ответил: «А что еще петь?». В этот же день на Тверской, когда колонна проходила мимо Центрального телеграфа, раздался голос (шутливый

намек на известную ленинскую фразу 1917 г.): «Ну вот и телеграф. Что там еще осталось занять — вокзалы и мосты?». В такой обстановке на митинге достаточно естественно прозвучал призыв к новой «февральской демократической революции».

Эти исторические аллюзии, несколько ослабев в силу указанного противоречия в последующие месяцы, вновь ожили в августе 1991 г. Их проявлением было и обращение Ельцина с танка (аналог ленинского броневика), причем характерно, что Н. Н. Воронцов, один из участников этого эпизода, в тот момент вспомнил именно ситуацию 1917 г., как явствует из его рассказа в телесериале «Вторая русская революция».

Еще сильнее из-за «обстоятельств места» — включая топонимику — метро «Баррикадная», площадь Восстания — была переключка с революцией 1905 г. Горбатов мост исторически связан с баррикадными боями 1905 г.; развороченная брусчатка моста напоминала об «оружии пролетариата», а памятник защитникам Пресни органично вписался в пейзаж укреплений у Белого дома. Станция «Баррикадная» (кто-то заметил в те дни: «Ее-то уж теперь точно не переименуют») служила главным выходом к эпицентру событий, ее подземный вестибюль, облицованный «революционным» красно-розовым мрамором, превратился в своеобразный информцентр восстания: все колонны были оклеены листовками, обращениями, указами, информационными сообщениями и пр.

Были факт переключки с событиями не столь давними — утром 21-го у СЭВа нам встретился паренек с красным флагом, у которого на румынский манер были вырваны государственные эмблемы в углу полотнища.

Театральность, о которой пишут авторы, проявилась в максимальной степени, возможной для данных условий. Атрибутами этой театральности были не только белые или трехцветные повязки, а также гигантский трехцветный флаг с биржи, не говоря уже о привычных спутниках митингов — плакатах и пр., но и, например, висевший над Белым домом дирижабль с российским и некоторыми другими национальными флагами. Подобный аэростат в последние годы был нередкой деталью официальных праздников на ВДНХ, например Дня печати, он же праздник газеты «Правда». ⁴ Будучи в определенной мере элементом праздничной атрибутики, аэростат вместе с тем воспринимался как деталь «фронтального» пейзажа (воздушное ограждение, как и баррикады, впервые в Москве с 1941 г.), причем придавал этому пейзажу трехмерную завершенность, образуя вместе с башней Белого дома вертикальную ось баррикадного пространства. Как и другие элементы театральности атрибутики, семантически он располагался где-то в промежутке между страшно-серьезным и празднично-карнавальным. После сообщения о том, что московские речники прислали корабли — несколько барж и буксиров — для защиты Белого дома со стороны набережной (это было во вторую ночь, в районе трех часов), среди шуток про «Аврору» мне ничем не оставалось как самому пошутить, кивая на аэростат, висевший той ночью низко над толпой: «Теперь у нас представлены все рода войск: танки, авиация и флот».

По поводу образцов фольклора, приводимых авторами, уместно вспомнить классические образцы карнавальной культуры, в частности снижение в области «телесного низа». Для подобного снижения в свое время, перед избранием на пост, дал повод сам Янаев своим полшутковым ответом на вопрос о здоровье кандидата в вице-президенты (с прозрачным намеком на его пристрастие к алкоголю), заданный одним из народных депутатов. Янаев, как известно, ссылаясь на мнение собственной жены о его здоровье, сообщил съезду, что он «нормальный мужик», болеющий «всеми теми болезнями, которыми болеют настоящие мужчины». ⁵ Подобные «шуточки» нашли отклик в дни путча: в кадрах видеохроники телезрители могли наблюдать висевшие внутри Белого дома плакаты, где имена некоторых членов хунты соседствовали с силуэтом полового члена.

Отмеченный в статье Бородатовой и Абрамяна отказ хунте в человеческой природе в какой-то мере, вероятно, содержал и момент классового отчуждения

социальной оппозиции номенклатуре, с ее привилегиями «живущей не как все люди». Что касается змеборчества, о котором также пишут авторы, то присутствие подобного мотива субъективно я ощущал достаточно сильно, хотя не берусь судить, насколько массовым было подобное настроение.

Несколько иными, чем авторам статьи, мне представляются психологические мотивы свержения памятника Ф. Дзержинскому. В связи с этим отдельного комментария заслуживает «день Победы», 22 августа, когда и произошел достопамятный демонтаж монумента, ибо низвержение бронзовой статуи «железного Феликса» — результат и своего рода заключительный аккорд потока событий, развивавшихся в тот день.

Напомню, что после митинга у Белого дома люди колонной, в которую вливались новые пополнения, двинулись к центру города по Садовому кольцу, а затем Калининскому проспекту, где за три дня до этого первые сотни или тысячи не подчинившихся хунте шли в противоположную сторону, на защиту Белого дома, и уже знакомым по прежним митингам маршрутом вышли на Манежную, «вечевую площадь» Москвы. Было предложено провести здесь митинг. Однако народ не могло удовлетворить очередное демократическое «мероприятие» на старом месте: толпа шла на Красную площадь (первоначально ходили слухи, что митинг будет здесь — и это вполне соответствовало бы моменту), на Старую площадь и на Лубянку. В этом был свой смысл. Красная площадь — место главных праздников, во время которых народ встречается с носителями верховной власти. Старая и Лубянская площади — одиозные центры власти негласной, но реальной. Между тем именно вопрос о власти решался в эти дни. Таким образом, это был поход на старые центры власти. На кремлевскую трибуну освобожденный Горбачев не посчитал нужным выйти — и допустил ошибку, не включившись в игру, в стихию праздника, тем самым ставя себя вне праздника (а значит, и вне революции, и вне формирующегося нового социально-политического порядка — не в этом ли первый признак его последующей политической судьбы?). Витало разочарование, люди скапливались у мавзолея, у ворот Спасской башни — входа в по-прежнему недоступный Кремль. Обнаруживалось отсутствие у праздника естественного финала. И несмотря на увещевания с Лобного места, многие пошли на Старую площадь и Лубянку (традиция финальных походов к ЦК КПСС берет начало на прежних митингах, тогда наиболее «экстремистская» часть демонстрантов шла к зданию ЦК с антикоммунистическими лозунгами).

Между тем здание ЦК КПСС взяли под охрану сами демократы, здание КГБ охраняли те, кому положено. Нереализованная энергия искала выход, и она его нашла — ее объектом стал памятник. Видимо, не последнюю роль сыграли его художественные достоинства — он удачно вписывался в архитектуру площади, был выразителен, именно поэтому его символическое значение и ценность возрастали и он мог стать «заменителем» самой «Лубянки».

Таким образом, энергия, с которой в течение нескольких часов молодежь безуспешно пыталась свалить монумент (ночью это сделали с помощью техники и специалистов), была по сути адресована не взятым ЦК и КГБ. Символическое «умерщвление» «железного Феликса» было компенсацией за недоступность реальных объектов ненависти. В то же время этот акт «естественного» революционного вандализма (аналогичный разрушению Бастилии в 1789 г. и свержению Вандомской колонны в 1871 г. в Париже или свержению памятника Сталину в Будапеште в 1956 г.) был актом посрамления противника у него на глазах (во всех окнах «здания напротив» были видны лица сотрудников КГБ). Другой формой такого посрамления были соответствующие надписи на постаменте памятника и на цоколе зданий Комитета; на мемориальной доске Андропова, кроме того, была намалевана белой краской свастика.

Нельзя согласиться с представлением о разрушении постаamenta памятника как составной части «убийства врага-вредителя». Здесь присутствовал и другой мотив — гранит отбивали на сувениры, как бетон при разрушении Берлинской стены, в самом же влечении к сувениру присутствовало желание «причаститься»

к событию и завладеть пусть символическим, но трофеем. (Это были дни, когда новые сильные мира сего торопливо делили куда более внушительную добычу).

И последнее замечание. Если согласиться с идеей о неразвернутости праздника, на которой настаивают Бородатова и Абрамян, то можно предположить, что эта неразвернутость связана с определенным противоречием, которое существует между традиционной народной праздничностью и природой политического митинга. На митинге господствует исключительно монологическое восприятие действительности, митинговая атмосфера суггестивна, а праздничный смех по сравнению, например, с классической карнавальской культурой⁶ лишен качеств универсальности (направленности на всех и вся): здесь он адресован исключительно противнику.

...Итак, августовские события были революцией — явлением столь же закономерным, сколь и противоречивым, ибо его последствия всегда неоднозначны, а в нашем случае приобретает особый драматизм в связи с распадом страны, в которой мы родились. И тем не менее эти заметки хочется закончить на оптимистической ноте: ведь в те августовские незабываемые три дня свершилось «обыкновенное чудо», победа жизни над смертью, живых людей над разрушительно-убийственной политической системой, и само чудо «преображенской революции» составляет одну из граней этого праздника, который начинался кошмаром официальных сообщений, а завершился ликованием победившего народа.

Январь — март 1992 г.

Примечания

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 103.

² Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 12.

³ Возможно, что, как ни парадоксально, в каких-то случаях развитие игровых начал стимулировалось и безусловной серьезностью происходящего — как антистрессовая психологическая реакция на высокую степень риска и ответственности.

⁴ Характерно, что азростат (правда, иной, сферической формы) использовали и организаторы митинга патриотических сил на Манежной площади 9.02.1992. Будучи праздничным атрибутом, азростат мог выступать и символом исторической традиции; с ним ассоциируется эпоха 1930-х — стремительное развитие воздухоплавания, воспринимавшееся в триумфально-мажорном духе и ставшее одним из средств самоутверждения Советской державы и сталинского режима.

⁵ «Известия». 28 декабря 1990 г.

⁶ Бахтин М. М. Указ. раб., С. 15.

A Revolution That Was a Festival

Commenting on the article by Borodatova and Abramyán, the author also presents his own personal observations and reflections on the August events of 1991. Socio-politically, what occurred then was a genuine revolution which overcame for the time being mass political alienation and resulted in festive behaviour patterns in those days. The preceding democratic Moscow rallies of 1990—1991 can be regarded as «rehearsals» of the August revolution. Stressed are the cultural aspects of the events including the patterns of spatial symbolics, in particular the symbolic functions of barricades in urban space.

A. A. Istomin